

Каждый день у него — плохое настроение. Иван Станиславович Чапрыгин — законопослушный гражданин, человек богатый, владелец сети магазинов здорового питания. На выборах голосует за правящую партию. По утрам занимается на тренажерах и обливается холодной водой. У него и в семье все хорошо. Супруга увлекается фитнесом, кушает натуральное-нерафинированное-органическое, выглядит на десять лет моложе своего возраста. Когда дети просят — соглашается посмотреть внуков. Изредка Иван Станиславович с товарищами вырывается на охоту, а иногда с женой — в театр. Все — как у многих. Нормально и спокойно.

Но вот настроение все хуже. Ему улыбаться не хочется, с друзьями общаться — тоже без прежнего удовольствия. В телевизор по вечерам с тоской смотрит, на курс доллара перестал реагировать. «Да что ты, в самом деле»,— скажет Алена, но Иван Станиславович только взглянет тяжело и задумчиво на жену и ни слова.

— Может, к психотерапевту? — спросила однажды.

«Все равно. Мне все равно»,— так он подумал, глядя в тарелку со скользким салатом, поковырял, отпил горький кофе, зачем-то фыркнул, сам не понял зачем, поднялся, ушел к окну. Хотел отодвинуть тюль, но получилось, что швырнул вместе со шторой, громыхнул форточкой. Мир с мигающими светляками машин, туманом, вздохами морозящего неба вкатился в него, окутал иным, далеким, зазвучал в сердце чем-то хорошим и тревожным. Ему захотелось чего-то нового, такого же непонятного, как вот это небо перед глазами. А небо уже начинало проясняться после дождя, но все еще что-то падало сверху и шлепало, бежало на землю, отзывалось в деревьях, газонах, крышах какими-то сочными переливами.

Чапрыгин сказал, вглядываясь сквозь дождевые капли в самого себя — дрожащего, мутного, незнакомого, уродливого, плавающего в стеклянной прозрачности:

— Алена. Скучно мне. Жить вот не хочется.

— Значит, к психотерапевту. Удивительно, у тебя нет и намека на лысину, а тебе жить не хочется,— прищурился и показывая голосом, что дурачится, она глядела в аккуратный стриженный затылок мужа.— Надо поднять связи и найти самого лучшего. А перед сном слушать Моцарта с Вивальди.

— Не надо связей. И врачей не надо. И Моцартов с Вивальди...— Тут Иван Станиславович, не желая того, повысил голос и стал говорить громко, и оттого казалось, что он раздражен.— И Репина со Львом Толстым, и Аллу Пугачеву с Дарьей Донцовой... Ни-че-го-не-надо.

Чапрыгин не хотел много говорить, но остановиться не мог («Зачем эта болтливость, зачем я говорю о писателях-музыкантах?» — думал он) и хрустел пальцами, хотя не желал так делать, пристукивал ногой, а жена качала головой. Ему не нравилось, что жена смотрит с сочувствием и качает головой, ему хотелось говорить резко, зло и решительно, чтобы Алена прекратила паясничать, как он считал, и не смотрела на него как на идиота, но сдерживал себя и следом раскаивался в дурных чувствах, и сожалел о своих дурных наклонностях. «Сколько во мне плохого, мерзкого. Я пустой человек», — думал Иван Станиславович и, испытывая сожаление о себе, все же не хотел верить этим мыслям. Однако убежденность в своей пустоте лишь усиливалась. Ему казалось, что жена глупая, и такие же глупые все, кого он знает, и это ощущение Чапрыгин объяснял тем, что он действительно никчемный, двойственный человек.

Иван Станиславович так и не пошел к психотерапевту, хотя Алена нашла «самого лучшего».

А ей — наврал. Чтобы отцепилась. Сказал — едет к врачу. А попал, сам не знает почему, в церковь. Церковь старинная, она уже давно Ивану Станиславовичу, как он сам это называет, глаза мозолит, из года в год мимо нее на работу и с работы туда-сюда. «И что там люди забыли? И зачем это все?» — такие мысли посещали его, когда наблюдал, как шли прихожане на свои какие-то праздничные службы, а джип поскорее уносил Ивана Станиславовича дальше, дальше... Но теперь он велел водителю притормозить.

«Ну-ка, ну-ка...» — пробормотал сам себе и вошел в храм. Молобен батюшка как раз закончил служить, подал крест народу, все подошли, только на пороге человек стоит, не идет ко кресту. Иерей вопросительно взглянул, помедлил и ушел в алтарь. Человек огляделся, присел на лавочку. Тихо. В углу, рядом с аналоем, покрытым красивой золотистой тканью, на стене — деревянная табличка. Чапрыгин пригляделся к лазерной гравировке, прочел надпись: «Место для чтения неусыпаемой псалтири». Под табличкой скотчем прикреплен лист с написанным от руки объявлением: «Уважаемые тещы неусыпаемой

псалтири! Просьба ни на минуту не отвлекаться! Помогите вам Господи!» Девушка в маленькой светлой косынке, в очках, склонилась над старинным фолиантом, до слуха Ивана Станиславовича доносилось: «Услыши, Боже, глас мой, внемли молити ми ся к Тебе, от страха вражия изми душу мою».

Старушки и тетушки неспешно, благоговейно, с отрешенными лицами ходят по храму, от иконы к иконе, пришептывают особые слова, вкладывают в них свои особые, близкие к горнему миру чувства. Чапрыгин с интересом и непонятым восторгом, смешанным с еще более непонятной завистью, наблюдал за странными людьми, которые имеют свои отношения с теми, кого называют небожителями. Он опустил глаза, увидел свои ноги, каменный пол, а что там, дальше, вдруг подумал, ну, там, под ногами и под полом. «Неужели ад?» — пришла мысль. Иван Станиславович дернул плечом, поймал себя на том, что кусает губы, с этой неприятной привычкой борется много лет, но если не кусать губы, тогда тянет грызть ногти. Смотреть вниз не хотелось. Каменный пол напоминал о другом каменном поле, в морге, куда их, студентов мединститута, приводили в далекие-предалекие годы на практику. Выдержать ту, ужасную своим замогильным холодом, практику юноша Чапрыгин так и не смог, и планы стать врачом были навсегда похоронены в том самом морге с каменным полом. Он снял туфли и прилег. Почему бы не прилечь? Тишина, уединение, обрета — все располагает к покою и размышлению о вечном. Иван Станиславович лежал на спине, смотрел вверх, там, под куполом, чья-то кисть изобразила Всевидящее Око. Если есть Всевидящее Око, тогда каждый шаг — под наблюдением, пришла ему такая мысль. Куда ни пойдешь, что ни сделай, а Оно всюду. Неужели Оно и внутри тебя? Он задумался, а как же тогда жить, ну вот как тогда жить, в самом деле, если Оно есть?

«Покрый мя от сонма лукавнующих, от множества делающих неправду», — сказали под табличкой чтецов неусыпаемой псалтири.

Пожилая женщина подошла к лежащему человеку. Чапрыгин закрыл глаза, ему не хотелось видеть кого-то, а тем более слышать, но он услышал. Это было дребезжаще-сострадательное: «Упокой, Боже, душу раба Твоего», и почувствовал, как ткнулись в его лоб.

Он вздохнул. Она сказала: «Ага». Помолчала, раздумывая, сказала нараспев: «С покойником перепутала. Сослепу. Мои извинения. Тут покойника ждут. Отец Андрей отпевать будет». «Не юродствуй. Ну, лежит себе и лежит раб Божий», — сказал кто-то доброжелательно, с улыбкой в голосе. «Да, лежит, это да», — согласилась она в ответ и вновь наклонилась к человеку на скамье. Иван Станиславович нехотя поглядел в ее глаза, увидел в них против своей воли что-то хорошее, а она наморщила желтый корявый нос, мигнула и погладила его по руке: «Во всем промысел Божий. Мало ли, чего в жизни не... Мда».

«Возвеселится праведник о Господе и уповает на Него, и похвалятся вси правии сердцем». Девушка кашлянула и взглянула на Чапрыгина. «Ошибаетесь, я не праведник. Ваш взгляд не по адресу», — он был готов пошутить, как когда-то умел это делать в обществе молодых женщин, пошевелил губами, но говорить не хотелось совсем, даже с девушкой.

Иван Станиславович увидел, как в храм мужики вносят гроб. Из алтаря вышел отец Андрей, откуда-то набежали люди, служитель Божий с ними заговорил, люди молчали и смотрели на батюшку тревожными глазами. Заметно было, как тяжело им думать о смерти, а тем более участвовать в таком скорбном деле, как похороны. Чапрыгин видел покрашенные глаза и нарумяненные щеки. Он подумал, как неуместна вся эта гнусная (так и подумал, именно «гнусная») женская бутафория возле гроба с покойником. А правда, снова подумал Иван Станиславович, зачем на похороны бабы красятся. Да и не только на похороны. Дуры потому что. Других объяснений он не находил. Прислушался к взволнованному разговору. «А вдруг человек в могиле оживет, мало ли, сколько таких случаев известно. Святой отец, благословите со смартфоном хоронить», — молодой мужчина в белых джинсах с модными дырами смотрел на священника умоляющими глазами, прижимая к сердцу руку. Пожилые женщины с траурными шарфиками на пышных прическах возмущались: «Это кощунство!». Тут из гроба зазвучала музыка. «Спят усталые игрушки, книжки спят... Одеjala и подушки ждут ребят... Глазки закрывай, баю-бай...» «Безобразие!» — толпа загомонила, обещая скандал. Но смартфон все пел, люди замолчали, слушали. Музыка располагала к приятному настроению. Дородная дама в обтягивающих брючках всхлипнула, громко сказала: «Спи спокойно!» Она вдруг звучно, как-то даже слишком громко («Театрально», — подумал Иван Станиславович) зарыдала, низко поклонилась гробу, непонимающе посмотрела на соскользнувший под ноги черный прозрачный шарфик и подхватила, рыдая, съехавший с головы парик, стала вытирать им растекающуюся по щекам краску с ресниц. («А может, и правда, ей плохо, а я вот дурак. Да. Это я дурак. А не она», — от этой мысли ему стало и грустно, и ненормально весело, и вместе с тем неприятно от самого себя, что он вот смотрит на чужое горе и надмеается*. «Я просто очень плохой человек», — думал Чапрыгин в который раз и понимал, что это правда. И чем больше он называл себя плохим, тем сильнее у него першило в горле и хотелось удариться головой о стенку, или просто пойти к этому гробу и залезть в него, и лежать рядом с тем покойником, и слушать «баю-бай, глазки

* Надмеваться (церк.-слав.) — гордиться, чваниться, зазнаваться, кичиться — см. Словарь русских синонимов и сходных по смыслу выражений. — под. ред. Н. Абрамова, М.: Русские словари, 1999.

закрывать»). Решили смартфон из гроба не изымать. Иван Станиславович услышал, как семинарист вполголоса сказал подошедшим певчим: «Звонки на девятый и сороковой дни — бесплатно». Те поджали губы, чтобы не смеяться. Кто-то все же хохотнул. На него шикнули. Началось отпевание.

Но вот вновь запело-заиграло, и покойник, наконец, ответил: «Але, хватит трезвонить. Достали. Я третий день как умер». Из гроба показалась рука со смартфоном: «Подтвердите, не верит». «Да-да, папа умер!» — склонился к руке мужчина с дырчатыми коленями.

Иван Станиславович открыл глаза: ни гроба, ни людей. Значит, у уснул в разгар отпевания, понял он.

Требы завершены, отцу Андрею можно уходить, но в храме на скамье спит человек. Служащие спрашивали у батюшки благословения выпроводить гостя, но получили отказ.

Ждали, когда посетитель проснется. Когда Чапрыгин поднялся и стал надевать туфли, к нему подошел отец Андрей.

«И чего им всем от меня надо? Или у меня на лбу что-то написано?» — подумал он без интереса и вспомнил жену с Моцартом и психотерапевтом.

— Какие проблемы, чем могу помочь? — сказал иерей.

А борода у него прямо серебро, и весь он в натуральном сиянии. Сияет радостью, и взгляд — как у отца родного... Не человек, а праздник. Иван Станиславович хотел бы удивиться и не может. Ответил равнодушно, но, неожиданно для себя, искренне, и получилось, что пожаловался, и так вышло это вдруг доверительно, будто в задушевной беседе со старинным приятелем:

— Жить скучно, прямо с души воротит от всего. И вроде для счастья полный комплект, а все не мило.

Священнослужитель кивнул с пониманием.

«Да что он понимает. Ничего не понимает», — подумал Иван Станиславович и подосадовал на себя. «Зачем я вообще ему душу открыл? Видно, это у попов профессиональное. Психотерапевтов за пояс заткнут».

— А вы знаете такую новость? В Храм Христа Спасителя святыню из Италии привезли, мощи святого Николая, его девятое, из-под самого сердца, ребро, впервые за девятьсот тридцать лет, из итальянского города Бари, из папской базилики! Это сегодня у всех на слуху, настоящее историческое событие, — пресвитер говорил с особым радостным торжеством в голосе, будто это он лично руководил священной церемонией по перенесению мощей.

«И как это люди по любому поводу и без повода радоваться умеют? Вот что такого радостного, что?» — подумал Чапрыгин.

— Ну, в новостях мелькало,— ответил с неохотой.— Но да мне-то что, я человек не особо и верующий. Ладно, пошел дальше, извините. Я тут у вас случайно, собственно, знаете ли...

Ему было неловко, что он, солидный, успешный и весьма даже известный в торговых кругах, оказался в таком странном месте, в такой странной компании, стоит вот перед человеком в рясе с крестом на груди, и не просто так, а как школьник, мямлит, сам на себя не похож. И как вообще его сюда занесло? Определенно, не то что-то с ним, все не то... И вон, спина зачесалась, и под мышкой зудит. Таракан заполз, что ли. Что за чертовщина?

— У вас здесь тараканов случайно нет?

Батюшка продолжал с пониманием глядеть на него, но на вопрос про тараканов не ответил.

Иван Станиславович вздохнул:

— Извините.

Он покосился на лики святых и закрыл глаза. Как их много, и все смотрят. Будто видят что-то. Как-то не по себе. Ну да, смотрят именно на него. Что-то вопрошают у его души, и душа дернулась, зашевелилась душа-то, зашевелилась. Значит, что, есть она, а? Но если есть, то как, почему, каким образом? КТО за всем этим?!...

— А святой Николай помогает и неверующим, и верующим. Вы бы сходили к нему, туда, в Храм Христа Спасителя, а? — то ли спросил, то ли приказал отец Андрей.

— Да нет, извините. Это не для меня. До свидания.

— До свидания. И все же советовал бы сходить.

Иван Станиславович вышел в церковный двор. Ноги никуда не хотели. А хотелось прилечь прямо в пыль. И лежать тут до самой смерти. Он глядел на дворника с метлой, глядел на сгорбленных богомолиц с палками, в длинных глухих одеждах. Они, казалось Чапрыгину, парили в блестящих пылинках воздуха, уплывали сквозь шумный город куда-то в свои бесплотные миры, растворялись в благодати церковных молебствий. Старушки были не такие, к каким он привык. В обычной жизни они ему встречались иные. Да. Иные. Ну, там, склочные, завистливые или, там, скупые, ропотницы, им до всего дело, носуют, как это у них принято. А эти — нет. Эти — нет! Иные! Но почему... Они же никто, пенсионерки, нищенки, убогие, дряхлые! А не убиты горем, не раздавлены тоской. И что самое главное, так это то, что в их лицах Чапрыгин видел счастье. Они показались ему счастливыми. «И, кажется, это действительно так,— с удивлением думал он,— они всем довольны». Будто все у них в этом мире куплено на сто лет вперед. Да, да, эти старушки что-то знают, им что-то открыто. Эк... Вон, кажется, летят, да, точно, уже летят... Летят над всем этим, пошлым, тупым, надоевшим... Над глупостью летят. И все вокруг — все

глупо. И он, Чапрыгин, тоже глуп. Вот, стоит, врос в землю, и ни за что ему от земли не оторваться...

«Солнце светит, но зачем оно светит? Зачем вообще все это вокруг? Все равно умрем, и не будет ничего. Ни солнца, ни радости, ни злых старух, ни добрых старушек, ни священника с его сказочно-старинной церковью и верой в Бога»,— он все топтался на одном месте и не хотел идти к машине. Алене ответил лишь с третьего раза: «Ну что ты, дорогуша, звонишь и звонишь. Сама знаешь, где я. У твоего врача, куда ты меня записала, тут и сажу. Жду. Сейчас будет принимать»,— он поморщился. Все же врать неприятно. И зачем вообще врать? Почему не сказать, как есть, почему не послать супругу с ее докторами к чертям собачьим? Так нет же. Надо врать, надо изворачиваться. Так проще. Да. Так проще. Он много вздыхал, и, вздыхая, велел шоферу ехать к Храму Христа Спасителя.

— Да лучше туда на машине не соваться, Иван Stanisлавович. Все подступы перекрыты. Людей столько, что и... Ну прям как в Мавзолей в советские времена. Моя сестра вчера отстояла восемь часов. Можете представить?

— Да, да, восемь часов,— повторил Чапрыгин.— Ну, тогда к метро. А сам отдыхай. До завтра. Если Алена спросит — скажешь, у врача были.

— Понимаю, Иван Stanisлавович. Все будет так, как надо.

«Хороший у меня водитель, надо ему премию, что ли»,— подумал.

— Вот, детям купи чего-нибудь,— сколько в руку попало, столько и отдал, не считая.

К Храму Христа Спасителя подойти не просто. Людская лента начинается где-то там, за дальними далями, и уходит тоже куда-то очень далеко-далеко, так далеко, ну прямо в иное измерение, в иную сказку, в ту самую желанную хорошую сказку, в ту райскую, заоблачную жизнь, ради которой все здесь и собрались, думал Иван Stanisлавович, и об этой сказочной жизни все эти люди пришли молить святого Николая. И очередь растет, увеличивается. Уже, наверное, вся Русь тут — топчется, надеется, ждет. Горят глаза, горят мечты, блуждают улыбки на лицах.

Полицейские, правда, не вписываются в эту божественную идиллию человеческих чаяний и иллюзий. Полицейские возвышаются над людскими потоками, они и внутри них, они всюду, они и здесь, и там, сзади, спереди, вверху, они стоят строго и прямо, грозно и холодно, непоколебимо и мужественно, они молчат. Суровые столбы, недвижимые шлагбаумы, грозные часовые. Их взоры и слух рядом с каждым, их внимание повсюду. Они как напоминание всем этим людям с доверчивыми глазами, этим мечтателям, что сказки рано или поздно заканчиваются, а жизнь остается жизнью. Окидывают пристальными

взорами граждан, нет ли в руках подозрительных предметов, нет ли у кого намерений совершить террористический акт, не подбросил ли кто пакет со смертоносной начинкой. Металлоискатели наготове. Просвечивают, простукивают, прощупывают, слушают и смотрят, читают мысли и видят намерения. Но — стоп. Иван Станиславович понял, что устал от фантазий, и надо перестать думать.

«Да, время сейчас такое», — он снова вздыхает, идет не спеша вдоль металлических ограждений, приглядывается к очереди, присматривается к волонтерам в зеленых куртках, изучает обстановку. Снуют волонтеры на самокатах, они развозят чай и макароны по-флотски другим волонтерам.

Толпа гомонит, молится, шепчет, бормочет, кашляет, чихает, смеется, вздыхает. Он уже не помнит, когда стоял в очередях. Может, и никогда не стоял. Так получалось, что не требовалась ему в очередях быть. Все легко и без проблем получалось. И двери, куда ни пожелаешь, сами открывались. И деньги шли в руки. И жизнь мчала на ковресамолете. Вот и теперь, другие мучаются часами, а он уже решил дело. Перемахнул легко, по-юношески, через ограждение. Лицо уверенное, властное. Плечи широкие, осанка гордая. Костюм добротный. Люди по поводу его неправильного поведения не ропщут. По-христиански не осуждают и по-христиански думают только хорошее о представителемном пожилом мужчине, умеющем прыгать как чемпион. Значит, так надо, значит, ему можно. А он приглядел подходящую, скромно одетую, уже почти у самого входа в храм, заглянул в ее отрешенные, скорбные очи в коконе морщин.

— Вы меня не забыли еще? А мне ваше лицо запомнилось. Я тут занимал — вроде бы перед вами. Где-то между этими людьми, да запомнил, за кем именно. Помню даму в полосатом и еще бородача с четками. А?

«Вот зачем врать, зачем», — подумал как-то лениво, но ему все равно. Какая разница, в самом деле. Ну, соврал. И что? Одной ложью больше, одной меньше, нет, в самом деле, ну какая разница. Разве в правде — счастье? И вообще, есть ли оно, это счастье. Он, Чапрыгин Иван Станиславович, на личном опыте знает, что счастья нет нигде и ни у кого. Уж если он, человек богатый, здоровый телом, у которого есть тыл — крепкая семья, не чувствует, что такое счастье, так бедные, нищие, убогие, больные, и подавно. Вместо счастья — разве что пресыщение. Вот и вся жизнь. С такими мыслями встал Иван Станиславович перед скорбной женщиной, и вскоре был уже внутри храма. А чтобы совесть не мучила, взял, и вперед себя благодетельницу пропустил. «Вы, вот что, вы идите, а я после вас, так будет лучше», — сказал ей.

Он смотрел на ее темную косынку, на сутулые плечи, видел, что женщина еще не так уж и стара, но бездолье и, наверное, безденежье, и какие-то свои жизненные проблемы ее сильно удручали и старили. Так

он и продвигался за ней, размышляя о том, почему одним дается в жизни скудость, другим — богатство, а и те, и другие одинаково страдают в жизни, одинаково не имеют счастья и одинаково умирают. «Вы, наверное, несчастны. Но не расстраивайтесь. Я тоже несчастен. По большому счету мы все в этом мире несчастны!» — это Иван Станиславович сказал тихо, наклонившись к уху соседки. Она не ответила, только взглянула через плечо на его красивые кожаные туфли и вздохнула. Больше он ничего не говорил. Они медленно, мелкими шажками, шли вместе с толпой, и он думал о том, что время остановилось, и будут все идти и идти в этой нескончаемой очереди, с одинаковой мыслью о своей доле, с мечтой о лучшем будущем, и так до самого Страшного Суда.

У массивного, восхитительно прекрасного своим благолепием и живописностью, золоченого серебряного ковчега со стеклянной бронированной крышкой стоять не разрешали. Дежурные просили не задерживаться, только приложиться и уходить поскорее своей дорогой, туда, в прежнюю жизнь, к недугам, скорбям, проблемам. И к надежде на скорое исполнение загаданных желаний. Скорбная женщина в последние минуты стала волноваться, шептать, оглядываться. Ей, конечно, думал Иван Станиславович, хочется пересказать всю свою тяжелую жизнь Чудотворцу, она слишком многое хочет сказать, у нее слишком много горя в жизни. Стоптаные туфли, слезинка на щеке... Вот она достала из клеенчатой сумки сложенный вчетверо лист бумаги, приблизилась на цыпочках к ковчегу, наклонилась, прижалась губами, потом лбом, снова губами. Вот она разжала пальцы, и листик упал рядом с ковчегом. Женщина заспешила, нет ее уже, исчезла, растворилась в людской массе.

Ивана Станиславовича сзади подтолкнули — быстрее, ваша очередь. А что сказать? — Не знает. Что ему скучно жить? С таким — к Угоднику? Да и где он, Угодник. Стоит ковчег, говорят, из серебра, а внутри — святыня. Но дальше-то что? Чапрыгин коснулся губами, ощутил прохладу стекла, вот и все, надо уходить. И пронеслась в голове самостоятельная, не запланированная, туча мыслей: «Помоги, святой Николай! Жизнь мне надоела! Что делать? Зачем жить? В чем счастье? Где оно, счастье? Где Он, Бог? Где ты, святой угодник?»

Дежурный кивнул на бумажку под ногами Ивана Станиславовича:

— Поднимите, пожалуйста.

— А если это не мое?

Дежурный дружески улыбнулся Ивану Станиславовичу с таким же пониманием во взгляде, с каким недавно взирал на него в старинной церкви седобородый иерей, и больше не смотрел в его сторону. Чапрыгин поднял бумагу и покорно пошел туда, куда шли все.

Выйдя на воздух, поймал себя на ожидании чуда. И подумал о том, что визит к мощам настроил его на ожидание перемен в жизни. Он даже остановился от этого открытия. Замер и прислушался к себе. Очевидно, да, душа ждала изменений. Пусть не сказку, но чего-то она ждала. Опять же. Где она, душа? Что оно такое — душа? Но определенно, кто-то в нем, внутри, чего-то ждет... И это не разум, расчетливый, обычный, рациональный. Нет. Это иное.

И вместе с тем никаких перемен. Все по-прежнему — скучно, бессмысленно, пусто и глупо. Вот это было и это осталось. Иван Станиславович присел на краешек заполненной людьми скамьи. Другие скамейки тоже заняты людьми, все они тоже из той огромной очереди. А вон там — дымок полевой кухни для людей из очереди. А может уже вся Москва — это одна большая очередь, и люди в домах, на дорогах, в парках... Все ждут своего часа, чтобы испытать судьбу, встать на колени перед Чудотворцем, взмолиться о персональном чуде... Со стороны полевой кухни запах съедобного, горячего, и может, вкусного. Там тоже очередь. Очередь за едой, очередь за счастьем, очередь за надеждой. Чем, интересно, угощают? Пойти, что ли... Представил, как он ест в толпе пластиковой ложкой из пластиковой тарелки солдатскую кашу. Можно бы и улыбнуться по этому поводу, но...

Покрутил в руках бумагу, развернул.

«Помоги, дорогой Николай Угодник. У моей дочери шесть детей. Ждет седьмого. Муж ее разрывается на двух работах. Но денег не хватает. Большая часть средств уходит на оплату съемной трехкомнатной квартиры. Платят хозяевам каждый месяц нешуточные деньги. Стоят они уже несколько лет в очереди для многодетных на получение жилья, но все ни с места. У меня — своя квартира двухкомнатная, но в ней живет мой старший сын с женой и двумя детьми. Попросили меня, это еще когда сын женился, пока побыть на даче. Да и правильно, я и сама думала на дачу перейти. Взрослые дети должны отдельно от родителей жить. На даче летом — можно, а зимой, конечно, холодно. Но я к холоду привычная, не зря у бабушки в Сибири детство провела. Сын мой в церковь не ходит, в Бога не верит. Вот это — беда. И сестру свою, мою младшую дочь, критикует за многодетность. Говорит, зачем нищету плодят. Аборты советует делать. Но Наташа, дочь моя, она молодец, она не хочет детей во чреве убивать. И муж ее, зять мой, так и сказал Сергею, моему старшему сыну: «Мы не хотим за детоубийство на Страшном Суде отвечать». Вот для Наташи, дорогой святой Николай, для нее прошу, помоги ей и ее семье с жильем. Сотвори такое чудо!» С обратной стороны листа были написаны адрес, телефон и имя — Марина Павловна Стропанова.

Иван Станиславович перечитал письмо два раза. Огляделся. Люди кормят голубей. Голуби теснят друг друга, они не знают, что такое очередь. Он втянул ноздрями воздух. Воздух свежий такой...

Или кажется. Да, точно, воздух свежий, резкий, быстрый, наплывает, ударяет, поднимает, разворачивает... Будто с моря. Вот так, в детстве, когда приезжал с родителями на море и бегал по горячему песку, и прыгал с разбега в волны, вот так пахло и ударяло в грудь, в голову, в сердце, и казалось, что это бьет тебя, оглушает и ослепляет то самое счастье, которое, оказывается, есть.

Чапрыгин достал смартфон, набрал номер, указанный в письме. Услышал голос скорбной женщины.

— Марина Павловна. Вы писали святому Николаю. Насчет жилья. Я вам звоню по его поручению, так сказать. Знаете, у меня в Москве пять квартир. А они мне, как вдруг оказалось, и не нужны, вот какое дело. Понимаете, да? У нас с женой дом — не дом, а дворец. У сыновей то же самое. Ну, и так далее. А тут ваше письмо. Ну, так чего тянуть. Надо оформлять дарственные. Для вас предлагаю двухкомнатную, а для вашей дочери многодетной — восьмикомнатную... Нет, не розыгрыш... Я и сам в удивлении. Скажи кто еще вчера, что надумаю так, незнакомым людям, за спасибо, за сумасшествие счел бы... Да как я могу передумать... «Почему-почему»... Чудо, вот почему.

«А хорошо, что Алена не знает», — он вспомнил, как несколько лет назад колебался, говорить или нет жене про то, что к трем, имеющимся у них, по семейной договоренности, в запасе, квартирам прикупил еще парочку. Здравый смысл, как это Иван Станиславович называл, взял верх, и он принял решение новую недвижимость оставить в виде секретной «зачапки» на случай возможного развода с супругой. А такая перспектива как раз намечалась: Иван Станиславович, по его собственному выражению, здорово «втрескался» в одну из молоденьких любовниц. И подумывал оставить семью. Однако, так случилось, его настигла, как Чапрыгин это для себя расценил, расплата свыше, его оставила мужская сила. И кажется — навсегда! Он не хотел в это верить, это казалось для него просто страшным сном. К кому только не обращался, куда только не ездил, какие только отчаянные медицинские ноу-хау на нем не испытывали... Столь неожиданные изменения в его размеренной и благополучной жизни потрясли Ивана Станиславовича настолько, что он впервые задумался, и задумался, можно сказать, всерьез, о том, куда попадает душа грешника после смерти, о существовании кары небесной и неотвратимости Страшного Суда.

Иван Станиславович Чапрыгин домой шел пешком. Шел долго. Проспекты, переходы, скверы, мосты, парковые зоны, ручьи... Весна... Он размахивал руками, жевал травинку, смотрел на небо. Небо мчалось, крутилось, качалось, летело — тучами, птицами, листьями, а ему чудилось, это ветер уносит в новую жизнь души усопших, а вслед им курлыкают смартфоны из гробов. «Звонки на девятый и сороковой дни — бесплатно», — вспомнил он и засмеялся.